**Повседневность как предмет духовно-нравственного осмысления**

 **в «московских» повестях Ю.Трифонова**

Цикл «московских» повестей Юрия Трифонова 1960 – 70-х гг. («Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь»[[1]](#footnote-2)) явил оригинальное художественное осмысление сферы повседневного бытия «срединного» советского человека. Привычная обыденность, раскрывающаяся через рефлексию персонажей, в их порой безотчетных психофизических состояниях, таит теснейшее сопряжение бытового и бытийного измерений и выступает у Трифонова предметом духовно-нравственного исследования. Здесь «весь сор существования проходит через фиксирующее слово»[[2]](#footnote-3) автора и героев, зачастую сталкивающихся с тем, как в неприметном течении повседневности «вязнет сама ситуация нравственного выбора»[[3]](#footnote-4).

Психологические переживания персонажей, которые в сюжетах «московских» повестей нередко связаны с «пограничными» состояниями потрясений, болезней, близости к небытию, открывают путь к онтологическим прозрениям, причем сам «быт становится у Трифонова универсальной формой экзистенции»[[4]](#footnote-5). Уже в экспозиции «Обмена» (1969) – этой «увертюры» «московского» цикла – намечается *столкновение быта и бытия*: на размышление о течении смертельной болезни матери центрального героя накладывается упоминание о том, что именно в это время «жена Дмитриева затеяла обмен».

Важнейшим уровнем повседневной реальности выступает у Трифонова *семейная жизнь* героев, высвечивающая грани их как индивидуально-личностного, так и общественного существования. *Развитие «мысли семейной»* в «московских» повестях приобретает сквозной характер, прирастает все новыми образными ассоциациями и достигает кульминации в повести «Другая жизнь» (1975).

В «Обмене» имплицитный и как будто спорадически прорывающийся разлад в супружеских отношениях Дмитриева и Лены уже с первых эпизодов предстает в призме проницательной авторской рефлексии. В этот контекст встраиваются и психологически емкая ретроспекция истории застарелой неприязни Лены и ее свекрови Ксении Федоровны, чьи отношения «отчеканились в формы… окостеневшей и прочной вражды», и болезненное для Дмитриева переживание хронической «душевной неточности» жены, чего-то «недочеловеческого» в ней, и искусно продуманные Леной ежедневные «уловки по регулированию семейных связей»…

Драматизм личностных несовпадений, растворение супружеских чувств в многоразличных и запутанных родственных отношениях порождают в сознании трифоновских персонажей *«эскапистские» настроения*, побуждают их выстраивать мысленную альтернативу существующему порядку вещей. Для Дмитриева эта тоска по несбывшемуся и невозможному выражается в мыслях о Тане, которые подсвечиваются тончайшим авторским скепсисом: «Почему-то он был уверен в том, что она не разлюбит его никогда… Была бы для него лучшей женой… Подумал, что мог бы завтра переселиться в эту трехкомнатную квартиру, видеть по утрам и по вечерам реку, село, дышать полем». Тайные пружины повседневного самоуспокоения высветляются и в главном герое «Предварительных итогов» (1970), который мучительно переживает выхолащивание семейных привязанностей в многословной болтовне «Ларисбюро», чувствует, как «все натянулось и треснуло оттого, что внезапно напрягся быт», и в то же время вдохновляется – «как догадкой и тайным утешением» – «идеей легкой разлуки», тем, чтобы «попробовать все сначала, пока еще не поздно».

*Семейная повседневность персонажей Трифонова отмечена преобладанием внешних, «знаковых» форм поведения над пониманием подлинного состояния межличностных контактов*. В «Обмене» это и изображение глубоко симптоматичного семейного конфликта по поводу «перевешивания портретов», и метафорические характеристики мышления Лоры, неспособной, как и многие трифоновские герои, возвыситься над собственными стереотипами: «Лора так и не научилась заглядывать немного глубже того, что находится на поверхности. Ее мысли никогда не гнутся. Всегда торчат и колются, как конский волос из плохо сшитого пиджака. Как же не понимать, что людей не любят не за их пороки, а любят не за их добродетели!»

*Губительная овнешненность повседневного существования* понимается Трифоновым как симптом духовного неблагополучия современников, переживаемой ими деформации шкалы ценностных ориентиров. Для Дмитриевых желание устроить дочь в престижную «английскую спецшколу в Утином переулке» становится главным «предметом вожделения, зависти, мерилом родительской любви и расшибаемости в лепешку», что, как покажет сюжет «Предварительных итогов», будет чревато фатальным отчуждением между поколениями: одним из проявлений жизненной катастрофы главного героя станет брошенный ему сыном упрек в производстве «какой-то муры».

Прежде возможные, но безвозвратно упущенные персонажами пути оздоровления семейной повседневности образуют сквозной мотив в психологической реальности трифоновских повестей. В «Долгом прощании» (1971) это мучительные коллизии отношений Реброва и Ляли, запутавшихся между семьей и театральной карьерой, в результате чего «ее известность толкала его в бок, в спину». Их несостоявшийся из-за сопротивления матери Ляли отъезд в Барнаул придал медленному разрушению семейных связей необратимый характер.

Вершинная в «московском» цикле повесть «Другая жизнь» в зеркале раздумий и воспоминаний центральной героини представляет насыщенную нравственной рефлексией «археологию» прошлой семейной жизни: «Но то, что будило, требовало упорно: старайся понять, должен быть смысл…» В памяти Ольги Васильевны сквозь выпуклые предметные подробности того, например, как «много разговоров» возникало, когда ее муж Сергей по ночам «брал часы с крышки ящика для постельного белья, чтобы поднести их к глазам, и всегда звякал металлической пряжкой о ящик», приоткрываются *онтологические глубины супружеских отношений*, смысл которых состоял в преодолении узких рамок индивидуального существования и единении с «другой жизнью». Воскрешая в памяти период знакомства и первой близости с будущим мужем, героиня прозревает, что «суть заключалась в простом: то, чего не хватало одному, находилось у другого, а то, что было у них обоих, соединялось в целое слитно и полно, но это сделалось понятно не сразу, не в первую ночь и не в первый год».

В произведениях Трифонова сокровенное слияние с «другой жизнью» идет вразрез с царящими в повседневности силами разъединения. *Проблема отчуждения* в «московских» повестях постигается на экзистенциальном уровне, вбирая в себя «коллизии несовместимости людей, даже любящих друг друга»[[5]](#footnote-6). Впервые фатальный характер этого ставшего едва ли не законом каждодневной жизни явления был как будто «случайно» осознан героем «Обмена» Дмитриевым, однажды попытавшимся из-за болезни матери найти себе замену для поездки в дальнюю командировку и столкнувшимся с несокрушимой логикой, согласно которой «умирает *чужой* человек, а в музыкальную школу поступает своя *собственная*, родная дочка»[[6]](#footnote-7). *Тупики обыденного эгоцентризма* оказываются определяющими и в сфере интимных отношений самого Дмитриева с Таней: «На одно мгновение он очень остро пожалел ее, но тут же вспомнил, что где-то далеко и близко, через всю Москву, на берегу этой же реки, его ждет мать, которая испытывает страдания смерти, а Танины страдания принадлежат жизни, потому – чего ж ее жалеть?»

В «Предварительных итогах» *комплекс тотального отчуждения* приоткрывается прежде всего в драматичной истории с домработницей Нюрой. В предательстве по отношению к этому «существу, которое так странно цементировало дом», выявляется *атомизированный характер существования* центральных героев, *фиктивность их общего дома*: «Все мы расползались в разные стороны, каждый в свою комнату, к своим делам и тайнам, своему молчанию, и только она была подлинным *домом*, хранительницей плиты, очага».

Вглядываясь в «анатомию» семейного общения и размышляя о предпосылках его деструктивной динамики, Трифонов от «Обмена» к «Другой жизни» развивает и углубляет прозрения о всяком браке как «двоемирии», противостоянии и «сшибке двух кланов, двух миров»: «Встретились две системы в космосе и сшибаются намертво, навсегда. Кто кого? Кто для чего? Кто чем?» В изображении писателя брак становится *полем изначального противостояния общеродового и индивидуального опыта*. Как уже после смерти мужа будет понимать главная героиня «Другой жизни», неприятие черт семейной «породы» Сергея и его матери, с их «внутренней несуразностью и желанием делать только то, что им нравилось», ослепляло ее и не давало разглядеть истоков личностного разлада в супружеских отношениях, внутренних оснований его «эскапистского» увлечения парапсихологией, а затем и раннего ухода из жизни: «*Их жизнь* распадалась, превращалась в осколки, в мозаику… Она не понимала, что он находится на переломе судьбы. Главною мукою было непонимание». Полюсом к позиции главной героини является поведение ее матери, до самозабвенной потери собственного «я» погружающейся в жизнь своего нового мужа – настолько, что теперь «ее просто не хватало на чью-то другую жизнь». В выведенной Трифоновым психологической реальности оказывается, что даже переживание общего страдания зачастую бессильно перед *инерцией человеческой атомизации*. Общая для Ольги Васильевны и ее свекрови потеря оборачивается «пыточной» невыносимостью повседневного сосуществования, когда в ночных терзаниях главной героини особенно явственно «обнажается истинное», непреодолимое могущество взаимного отчуждения.

*Индивидуально-личностный, семейный уровни повседневности теснейшим образом соотнесены у Трифонова с закономерностями общественного, исторического бытия, также выступающего в его прозе предметом духовно-нравственного анализа*. Выстраиваемая им модель художественного времени такова, что история проступает в коллизиях текущей действительности, а индивидуальные искания персонажей проецируются на систему общественных отношений.

Следуя по пути *нравственного диагностирования современности*, Трифонов отбрасывает стереотипы официальной идеологии и выводит разнообразные стратегии «успешного», подчиненного убежденности в своей неколебимой правоте существования. Это и жесткий практицизм, бытовое «умение жить», «вгрызаться в свои желания, как бульдог» в духе Лукьяновых и Лены («Обмен»), и псевдоинтеллектуальность на фоне атрофии нравственного чувства, как у институтского знакомого Дмитриева («Обмен»), который «высидел свинцовым задом диссертацию», или у Рафика («Предварительные итоги») – «кандидата наук», который «что-то пишет, где-то преподает» и принадлежит к числу тех людей, что «ни одного доброго дела не могут сделать просто так». В этом ряду – и псевдонаучный активизм Климука и «железных малышей» из институтской среды в повести «Другая жизнь», и выведенная там же мать Сергея Троицкого, «закаменевшая в архаике революционного догматизма»[[7]](#footnote-8). Это и распространившиеся в «оттепельную» пору квазирелигиозные увлечения – как у Риты и Гартвига («Предварительные итоги»), с пристрастием к древним иконам, желанием быть «все поближе к монахам, к старине» в сочетании с «циническим стремлением приобретать, поглощать, ничего не давая». В нравственном смысле эта въевшаяся в поры общественного бытия неправда, вопиющее расхождение повседневности и лозунгов официозной пропаганды влекли за собой *фиктивность межличностного взаимодействия, отчуждение и болезненное «выпадение» из социальной среды не желавших принимать вульгаризованные представления о всеобщей «целесообразности»*.

Аксиологическую весомость приобретает в характерологии «московских» повестей целая *галерея «выпадающих» из своей среды персонажей*. Первым из них становится в «Обмене» дед Дмитриева, которого Трифонов, в согласии с «шестидесятническими» представлениями и оценками, вывел в качестве старого революционера-идеалиста, «чуждого всякого лукьяноподобия», не приемлющего примата «нужности» и потому не находящего себе места в современности. Принципиально значима способность деда к бытийной оценке своего предназначения и всей прожитой жизни: он «говорил о смерти и о том, что не боится ее. Он выполнил то, что ему было назначено в этой жизни, вот и все». Неслучайно для рефлектирующего Дмитриева уход деда равносилен утрате ценностного центра, незримым образом объединявшего семью, поскольку «вместе с ним исчезало что-то, прямо с ним не связанное, существовавшее отдельно: какие-то нити между Дмитриевым, и матерью, и сестрой».

С попыткой осмыслить и восстановить эти сокровенные нити в частном и историческом бытии сопряжено появление у Трифонова *образа историка* – как «носителя особого, духовно-взыскующего отношения к жизни»[[8]](#footnote-9).

Герой «Долгого прощания» историк и несостоявшийся драматург Гриша Ребров внутренне противится давлению обмельчавшей и бессобытийной повседневности и упорно собирает исторические материалы о, казалось бы, канувшем в толщу исторического времени Клеточникове, который был «агентом народовольцев в Третьем отделении», прожил «тихую, героическую и краткую жизнь», «тихо скончался от голодовки в Алексеевском равелине» и, что особенно значительно для Реброва, «исполнял волю только собственной совести». *Проблема внутреннего самосохранения личности в коллизиях частной и общественной жизни*, столь важная для ищущих героев Трифонова, проецируется Ребровым на критическое осмысление прожитых лет: «после окончания жизни» он «думал о жизни, которую успел прожить: да что же в ней было?»

*Нонконформистские интенции* еще рельефнее представлены в личностных и научных поисках историка Сергея Троицкого («Другая жизнь»). За его внешними метаниями из музея в научный институт, разноплановыми историческими интересами («то история московских улиц, а то охранка»), диссертационными перипетиями таилось стремление не только к нравственному устоянию («Он не хотел меняться в своей сердцевине…»), но и к радикальному отказу от официозно-марксистских и догматизированных представлений о пресловутой «исторической целесообразности» как «единственно прочной нити, за которую стоит держаться». Подобная вульгаризация исторического знания, на которой настаивало отторгнувшее Троицкого институтское окружение, особенно отчетливо передается через усвоенные еще в советской школе взгляды Ольги Васильевны: «История представлялась Ольге Васильевне бесконечно громадной очередью, в которой стояли в затылок друг к другу эпохи, государства, великие люди, короли, полководцы, революционеры, и задачей историка было нечто похожее на задачу милиционера, который в дни премьер приходит в кассу кинотеатра «Прогресс»… следить за тем, чтобы эпохи и государства не путались и не менялись местами, чтобы великие люди не забегали вперед, не ссорились и не норовили получить билет в бессмертие без очереди…» Этой механистической логике герой Трифонова пытается противопоставить *антропологический угол зрения на историческую реальность*, видение человека как «тончайшего нерва истории», интуицию об иррациональных свойствах личной и коллективной памяти, из которых рождается понимание исторического опыта как аксиологически значимого, духовного усилия по отыскиванию затерявшихся нитей человеческих судеб, а на последней глубине – по превозмоганию забвения и небытия: «Ему казалось, что нить, соединяющая поколения, должна быть наподобие сосуда, по которому переливаются неисчезающие элементы». У Троицкого, как и у Реброва, нравственные ориентиры в повседневной жизни, состоявшие, по наблюдениям Ольги Васильевны, в «несуразном, вкусовом отношении ко всему, даже к серьезным делам и собственной судьбе», оказывались весомыми и в области познания истории.

Таким образом, *повседневные быт и бытие художественно постигаются в «московских» повестях Трифонова как многосложное переплетение сокровенно-личностного, семейного и общественно-исторического планов*. Выведенная здесь типология характеров, обстоятельств, конфликтных ситуаций нацелена на исследование кризисных сторон современного сознания, истоков и путей преодоления возрастающей фиктивности семейного и общественного диалога, расширяющейся зоны отчуждения личности от царящей в семейной и социальной среде неправды. Синтезируя различные временные пласты, речевые потоки автора и персонажей, приоткрывая символическую многомерность в повторяющихся бытовых ситуациях, Трифонов в повседневной сфере существования своих героев прозревал действие надвременных, требующих духовного осмысления бытийных закономерностей.

1. Тексты указанных произведений приводятся по изданию: Трифонов Ю.В. Избранное: Повести. М., Терра, 1997. [↑](#footnote-ref-2)
2. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Юрий Трифонов // Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: В 3-х кн. Кн. 2: Семидесятые годы (1968 – 1986): Учебное пособие. М., Эдиториал УРСС, 2001. С.155. [↑](#footnote-ref-3)
3. Там же. [↑](#footnote-ref-4)
4. Там же. С.171. [↑](#footnote-ref-5)
5. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Указ. соч. С.159. [↑](#footnote-ref-6)
6. Здесь и далее в цитатах сохранен курсив Ю.В.Трифонова. [↑](#footnote-ref-7)
7. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Указ. соч. С.161. [↑](#footnote-ref-8)
8. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Указ. соч. С.159. [↑](#footnote-ref-9)